
Малое
собрание
сочинений

Леонид
АНДРЕЕВ

Малое
собрание
сочинений



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1-44
А 65

Серийное оформление Ильи Кучмы
Оформление обложки Виктории Манацковой

ISBN 978-5-389-14559-7

© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство АЗБУКА®

БАРГАМОТ И ГАРАСЬКА

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари — проломленные головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности Баргамот скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной, для пушкарей же — наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц — он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городских, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато

эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и безусловно господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, — Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкирной улице была всё. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкирная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, — могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копать в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообщаясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой — вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра Светлое Христово Воскресение, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение! Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

— Тьфу! — плюнул Баргамот, сделав сигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до «разговленья».

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с не особенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!» — резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул — сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благодную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро

и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник!

«Потешный мальчик!» — ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом слышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?» — подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой, — его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со середины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

— Фонарь. Тпру! — кратко констатировал Гараська совершившийся факт.

Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслужен-

ными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

— Стой, дурашка, куда ты?! — бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. — Вот, вот!.. — Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь, — в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке — и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, — толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, — от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, — было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть.

Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться со столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался:

— Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? — Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

— Куда идешь? — мрачно прогудел Баргамот.

— Наша дорога прямая...

— Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

— Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удалство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок.

— А вот в участке поговоришь! Марш! — Мощная длань Баргамота устремила к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шкуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

— А скажи, господин городской, какой нынче у нас день?

— Уж молчал бы! — презрительно ответил Баргамот. — До свету нализался.

— А у Михаила-архангела звонили?

— Звонили. Тебе-то что?

— Христос, значит, воскрес?

— Ну, воскрес.

— Так позвольте... — Гараська, ведший этот разговор впол-оборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, — потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.

Гараська вое! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», — решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

— Что ты, очумел, что ли? — ткнул его ногой Баргамот.

Вое! Баргамот в раздумье.

— Да чего тебя расхватывает?

— Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

— Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты... — бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось и как это ему, Баргамоту, было жаль.

— Экая оказия, — мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

— Похристосоваться хотел... Тоже душа живая, — бормотал городской, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. — А я, тово... в участок! Ишь ты!

Тяжело крикнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

— Ну... — смущенно гудел он. — Может, оно не разбилось?

— Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

— А ты чего же?

— Чего? — передразнил Гараська. — К нему по-благородному, а он в... в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

— Да разве вас можно не бить? — спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

— Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

— Пойдем ко мне разговляться.

— Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

— Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел — и куда же? — не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль — наострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато

лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городских, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

— Верно говорите, Иван Акиндинч, нельзя нас не бить, — поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

— Да нет, не то я говорю... — мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык...

Пришли наконец домой, — и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, — но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убраным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отреший, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

— Иван Акиндинч, а что же ты Ванятке-то... сюрпризец? — спрашивает Марья.

— Не надо, потом... — отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, — но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

— Кушайте, кушайте, — потчует Марья. — Герасим... как звать вас по батюшке?

— Андреич.

— Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на соевое пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянной и жалкою миной смотрит на жену.

— Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, — успокаивает та беспокойного гостя.

— По отчеству.. Как родился, никто по отчеству.. не называл..

ИЗ ЖИЗНИ ШТАБС-КАПИТАНА КАБЛУКОВА

Через запушенные инеем и покрытые алмазными елками стекла окон проникали утренние лучи зимнего солнца и наполняли холодным, но радостным светом две большие, высокие и голые комнаты, составлявшие вместе с кухней жилище штабс-капитана Николая Ивановича Каблукова и его денщика Кукушкина. Видимо, за ночь мороз окрепчал, потому что на подоконниках у углов рам образовались ледяные наросты, и при дыхании поднимался пар в холодном воздухе, за ночь очистившемся от запаха табака.

— Кукушкин, — хриплым баритоном крикнул Николай Иванович, прихлебывая из стакана горячий, крепкий чай. Стакан был вставлен в серебряный, почерневший в узорах подстаканник, вместе с серебряной ложечкой составлявший весь ассортимент имевшихся у капитана драгоценных вещей. — Кукушкин!

Слегка зацепившись в дверях, вошел денщик, за несообразность, по выражению фельдфебеля, уволенный от строевой службы. Маленькая голова его с большими лопастными ушами уныло торчала на длинном и худом туловище, охотно принимавшем всякое положение, кроме требуемого.

— Экий ты, братец, михрютка, — кротко упрекнул капитан. — Нужно идти сразу, когда зовут.

— Так точно, — угрюмо пробурчал Кукушкин и скосил глаза.

— Экий ты дурак, братец. И чего ты морду-то воротишь? Пьян был?

— Нам не на что пить.

Не желая портить настроения, Николай Иванович молча пожал плечами и велел подать водки и закуски и затопить печку.

— Это что? — показал капитан на чайную чашку с пестрым рисунком, очевидно собственность Кукушкина, которую он поддал вместе с графином водки и сардинами. — Рюмка? — капитан повел глазами на землю.

— Так точно.

— Ну и дурак. Возьми у хозяйки.

Пока денщик, сидя на корточках, возился у печки и, обжигаясь, подтапливал березовой корой сырые, на концах покрытые снегом дрова, Николай Иванович всесторонне обдумал свои планы на завтрашний вечер. Наступающий праздник требовал от него чего-нибудь праздничного, и завтра, в сочельник, капитан решил устроить у себя пирушку, по количеству напитков, очевидно, не предназначенную для женского пола. Да женский пол давно уже не входил в расчеты капитана, так как полковых дам, с которыми ему приходилось резаться в стуколку, он за женщин не считал, а с другими сталкиваться не приходилось. Капитан составил реестрик вин и закусок и с некоторым чувством удовольствия передал его денщику, который вместо ожидаемого одобрения отвечал, как попугай, «так точно» и «слушаю», но чем больше он «слушал», тем рассеянное и мрачнее становилось выражение его глаз; капитан сказал бы, что в них просвечивает даже ирония, если бы не знал доподлинно, что Кукушкин глуп и к иронии не способен. Покупок было рублей на десять, но у капитана имелась только двадцатипятирублевая бумажка, которую он и передал денщику. Не теряя все еще надежды оживить Кукушкина и вызвать в нем более активное отношение к действительности, Николай Иванович поднес ему чашку водки, мотивируя свое предложение ссылкой на мороз. Кукушкин, перекрестившись, выпил водку, но не крикнул, и не сплюнул, и не поблагодарил, как то следовало по его установившимся привычкам, но лишь обтер губы с таким ожесточением, как будто ему хотелось уничтожить и след своей позорной уступчивости. Через несколько минут с силой хлопнула кухонная дверь.

«Что за муха его укусила? — подумал капитан. — Был малый как малый, а теперь прямо ошалелый какой-то. Третьего дня сгрубил. Хозяйка жалуется. Ну да черт с ним. Буду лучше думать о том, как хорошо и весело пройдет завтра вечер».

Выпив еще две рюмки водки, погуляв по комнате, заглянув в замерзшее окно, с подоконников которого уже начала стекать вода, Николай Иванович взял маленький ящичек и присел на нем у бурчавшей и шипевшей печки. В открытую дверку на него пахнуло жаром. Шипение стихло, и желтые языки пламени, лениво нагибаясь, облизывали обуглившись поленья.

Прошло двадцать лет с тех пор, как Николай Иванович таким же образом, на ящичке, сидел у печки. Тогда он только еще попал в этот мерзкий городишко и в эту несчастливую дивизию, где офицеры так живучи и движение вперед так медленно. Тогда у него не было лысины и этого красного, обрюзглого лица. Другим языком говорил тогда этот огонь, таким приятным жаром обдающий лицо. Тот язык был менее понятен, чем настоящий; глупый и смешной то был язык. Он говорил об академии, куда поедет учиться Николай Иванович; он тихо и загадочно шептал о какой-то красивой и хорошей девушке, которая его полюбит; он рисовал живые картины веселого шумного бала, на котором стройный офицер с затянутой талией ловко отбивает такт мазурки и ведет остроумную и интересную беседу. Танцы... Какая смешная вещь танцы!

Николай Иванович оглядел свой округлившийся живот и, вообразив себя танцующим и беседующим с барышней, улыбнулся.

— А разве теперь не хорошо? Ей-богу, хорошо! — возразил кому-то капитан и в доказательство, что ему хорошо, выпил еще рюмку водки, но к печке присаживаться не стал. Ходить по комнате оказалось разумнее. Мысли пришли обычные, спокойные, ленивые — о том, что жид Абрамка поручику Ильину лакированные сапоги испортил; о том, сколько он будет получать денег, когда будет ротным командиром, и что казначей хороший человек, даром что поляк.

Последние годы Николаю Ивановичу усиленно приходилось доказывать, что ему живется хорошо, так, как нужно жить. Но доказательства принимались туго, пока капитан не обзавелся могучим союзником — графином. Когда с утра он выпивал две-три рюмки водки, все становилось ясным, понятным и простым. Не поражала своим убожеством грязная, пустая комната; не замечалось и того, что сам он стал нечистоплотен

и ленив: по неделям не меняет белья, ленится чистить ногти, а когда и замечалось, то тут же опровергалось резонным соображением: «Ведь мне за барышнями не ухаживать!» Легче было и дело делать спустя рукава; не так обидно казалось и то, что он в пятьдесят лет штабс-капитан, тогда как иные товарищи его по выпуску уже полковники, а то и генералы. Переставало грызть бесплодное сожаление о том, что он четверть века убил на бессмысленную шагистику, в мелкой погоне за завтрашним днем растерял по дороге по частям свою душу. Легкий, приятный туман волновался перед Николаем Ивановичем, застилая от глаз все, что не есть четвертая рота Хоронского резервного батальона с ее жидом Абрамкой, преферансом по маленькой, приказами по полку и другими злободневными интересами.

Но было раза два в году, что союзник капитана обращался в его злейшего врага. С мучительной яркостью и болью перед ним вставало сознание ужасной бессмысленности его жизни, — и тогда Николай Иванович пил запоем по две недели, в одном белье просиживая дома с одувшейся багровой физиономией. С пьяными слезами он жаловался товарищам, что его загубили, а когда товарищи покидали одичавшего, полубезумного от алкогольного яда человека, он ставил к притолоке денщика и, с последними попытками сохранить свое достоинство, суровым голосом рассказывал ему, что он, капитан, человек хороший, только не понятый. Когда и денщик уходил от сумасшедшего «его благородия», его благородие, положив голову на стол, плакал один, не зная, о чем он плачет, но тем горше, тем искреннее и больше. По миновании запоя, капитан, совестившийся вспомнить и говорить о нем, не мог все же отделаться от ряда смутных, тяжелых воспоминаний. Одним из них, наименее тяжелым, было воспоминание о том, что Кукушкин в чем-то помогал и сочувствовал капитану. Был ли он крепче на ногах других денщиков и долее в состоянии был впитывать в себя капитанские излияния (летевшие на него иногда со стаканом и другою вещью, подвернувшейся Николаю Ивановичу под руку) или в чем-нибудь ином проявлял свое заботливое к нему отношение, капитан в точности уяснить себе не мог, но чувствовал к Кукушкину благодарность. Ради нее он до сих пор не прогонял Кукушкина и мирился с его официально признанной

глупостью и совершенно отрицательным значением в капитанском хозяйстве: чего Кукушкин не мог разбить, то он портил другим, более или менее остроумным способом. Капитанские приказания он толковал так превратно, что даже другие денщики смеялись.

Выпив еще рюмочку, Николай Иванович отправился пройтись по знакомым, передав ключ и заботы о квартире хозяйке, жившей через сени. Вернулся капитан поздно вечером, но Кукушкина еще не было. Прошла ночь, а за нею следующий день, — Кукушкина все не было.

Заложив капитанский реестрик за обшлаг рукава, Кукушкин вышел и, охваченный крепким морозным воздухом, невольно ускорил свой гусиный шаг, за который удалили его из роты. На морозе особенно чувствовалась теплота выпитой водки, но это не улучшило его настроения. Послав значительное количество чертей толкнувшей его бабе, в свою очередь с некоторым уважением сообщившей ему, что она такого длинного дьявола еще не видала, Кукушкин демонстративно прошел перед самым носом разогнавшейся извозчицкой клячи, на укоризненное замечание возницы бросив ему вслед:

— Эка носят тут вас черти, гужеедов!

Все дальнейшее, встречавшееся Кукушкину на пути, вызывало в нем протест и едкие замечания. Чем благообразнее, сытнее и по-праздничному радостно-озабоченнее была встречавшаяся физиономия, тем с большею ненавистью смотрел он на нее. «Разлопался, жирный пес», — приветствовал он мысленно купца, сидевшего в широких санях и принимавшего от мальчика кульки и кулечки. «Мало еще: ишь чрево-то разъел». Соображение о том, что капитан послал его на другой край города, как будто тут не было хороших магазинов, повергло Кукушкина в состояние полного человеконенавистничества. «С жиру-то бесится, — у Мотыкина селедок купи, слышишь?» — передразнил он капитана и с отвращением плюнул.

— А вот ежели я в кабак зайду? — спросил Кукушкин кого-то, не дававшего ему покоя, и, презрительно ткнув ногой захватанную дверь трактирного заведения, скрылся за нею.

— Вот и зашел, и выпил! — торжествующе подтвердил он, выходя из трактира и выпустив струю вонючего воздуха. Как бы вызывая на бой весь мир, Кукушкин гордо огляделся и, увидев офицера, моментально вытянулся и отдал ему честь.

С крутой горы Кукушкину надо было спуститься на мост. По ту сторону реки, за рядом дымовых труб города, выпускавших густые, белые и прямые столбы дыма, виднелось далекое белое поле, сверкавшее на солнце. Несмотря на даль, видна была дорога и на ней длинный, неподвижный обоз. Направо синеватой дымкой поднимался лес. При виде чистого снежного поля бурный и горький протест с новой силой прилил к беспокойной голове Кукушкина. «А ты тут сиди!» — со злобой, не то с отчаянием подумал он.

Недели три тому назад Кукушкин встретился на базаре с одним земляком, который, рассказав все новости деревни Собакиной, погрузил его в заколдованный мир деревенских интересов — заколдованный, потому что и родился, и жил Кукушкин, и взят был из деревни — все по щучьему веленью. Интересы эти были денщиком слегка призабыты, но даже легкое напоминание о них заставило ходуном ходить мужицкую кровь, звавшую Кукушкина к тяжелому мускульному труду — к земле и сохе. Рассказал ему земляк и о том, что у него, Кукушкина, родилась дочка, но что молодая больна и ребенка кормят соской. Далее оказалось, что отец Кукушкина без работника, с одним братом Иваном не может сладить с хозяйством и совсем ослабел; хлеба недостаток, и к Рождеству придется заниматься у Ильи Иваныча, ежели Илья Иваныч даст. «И слезно просят любезного сына Петрушу прислать денег, потому смерть приходит». Кукушкин послал с земляком целковый, но впал в отчаяние. Перед возбужденным воображением его носилась яркая картина горькой домашней нужды, и чем ближе к празднику, тем ярче и нуднее становилась она. Непривычный к рассуждениям мозг денщика тяжело шевелился, сосредоточивая все свои силы на уразумении факта, заключавшегося в простом сопоставлении: «Дома без рук и без хлеба сидят, а я у Мотыкина селедок голландских покупаю».

И теперь Кукушкин созерцал во всей наготе этот факт и, не умея рассуждать, отплевывался и всем своим существом бес-

плодно протестовал — к собственному удивлению и даже к некоторому огорчению, потому что это состояние казалось ему неприятным и напущенным на него извне, со стороны. В первое время он помышлял о бегстве, но бегство было так глупо, что Кукушкин целых два дня после своих помыслов с особенной иронией относился к капитану и до срока потребовал у своего коллеги, денщика Тюткина, уплаты занятого двугривенного, а когда тот, по соображениям формального свойства, не отдал, обругал его деревенщиной и подлецом.

Кукушкин подходил к магазину, когда вместе с воспоминанием о деньгах что-то изнутри с силой толкнуло его, и сам собою, как дергач из травы, выскочил вперед:

— А ежели я украду?

«С нами крестная сила! — испугался Кукушкин и перекрестился. — Во всем роду воров не было, а я украду. Да рассказать его мало за это. И что человек подумает», — неискренне улыбнулся Кукушкин и ускорил шаги. Но четвертная бумажка шевелилась в кармане, а изнутри что-то толкало — и вытолкнуло ответ:

— Скажу, что потерял.

«С нами крестная сила!» — еще раз воскликнул Кукушкин и с испугом бросился в первые попавшиеся двери. То были двери трактирного заведения.

Разгневанный и обеспокоенный, Николай Иванович оповестил собиравшихся к нему офицеров, что денщик его с деньгами пропал, и, вернувшись домой, нашел пропавшего денщика в кухне. Кукушкин сидел на лавке и, покачиваясь и клюя носом, усердно ваксил капитанский сапог.

— Ты где это, мерзавец, пропадал? Пьян?

— Ни-к-как нет, вашбродь.

— Как стелька... Да как же это ты смел напиться? а?

— На свои пил, не на ваши.

— Что? Грубиянить? А покупка где, а деньги где?

— Потерял. Вот как перед Истинным...

Капитан всплеснул руками и безмолвно устремил на денщика свои заплывшие глазки. Если капитан в этот момент напоминал собою Наполеона, то Кукушкин был океаном, бестре-

петно сносившим взгляд владыки мира. Осоловелые глаза денщика, с кротким спокойствием безвинно обиженного человека, были устремлены на Николая Ивановича.

— Украл? Говори!

— Что ж, судите. Может, и украл. Человека всегда обидеть можно. — Кукушкин заплакал.

Капитан, чувствуя, что гнев душит его, сквозь зубы прошипел:

— Спать ложись, скотина. З-завтра в полк.

— Воля ваша, но только я занапрасно гибну.

— М-молчать! Молчать, я говорю!

Топнув ногою, капитан вышел из кухни, а Кукушкин попытался снова приняться за сапог, но, не приняв в расчет силы инерции, последовал за движением щетки и повалился на лавку.

Гнев капитана достиг высшего напряжения и, вылившись в бессвязных восклицаниях, вскоре утонул в нескольких рюмках водки и сменился чувством жестокой обиды. «Праздника и того не дадут как следует встретить», — сокрушался капитан, пробегая взглядом по светлой картине несостоявшегося веселья, и она как будто потускнела. «Но я докажу, что было бы хорошо!» — воскликнул капитан и начал доказывать. Но странное дело: чем усиленнее капитан доказывал, чем чаще вливал он в себя аргумент из графина, тем сомнительнее становилась истина.

«Запой!» — с ужасом подумал Николай Иванович, но сейчас же ужас этот сменился радостью — радостью человека, который бросается в пропасть, чтобы избавиться от головокружения. Как бы порвав сковывавшие их цепи, перед капитаном понеслись образы, мрачные, тяжелые и томительно-грустные. Образ милой девушки, долженствовавшей составить счастье капитана, всплыл перед ним чистый, пленительный. «Голубушка!» — с нежностью сложил толстые губы Николай Иванович. А за ним поплыли, поплыли другие. Капитан сидел на берегу этой реки, уносившей в бездну его надежды и мечты о человеческом счастье, и все грустнее и жалче становилось ему себя. Водка убывала в графине, претворяясь в чувства, которые ей редко суждено будить в душе человеческой: чувства жалости, любви и раскаяния. Никому он, капитан, не нужен; ничья не

просветлеет душа при виде его расплывшейся, пьяной и грязной физиономии. Не обовьются вокруг его толстой, апоплексической шеи мягкие детские ручки, не прижмется нежная щека к его колючему подбородку. У других хоть собака есть, которую они любят и которая любит их. По странному сцеплению мыслей капитану вспомнился Кукушкин. За что Кукушкин будет любить его? Кукушкин... а что такое, собственно, этот Кукушкин?

Грузно поднявшись со стула, капитан взял лампу и отправился в кухню. Денщик спал, запрокинув голову. В левой руке он еще держал сапог, правая, тяжелая, свесилась с лавки. Лицо было бледно и болезненно. Капитан первый раз видел, как спит Кукушкин, и он показался ему другим человеком. Впервые он заметил на этом молодом, безусом лице морщинки, и это лицо с морщинками, с одной несколько приподнятой бровью, казалось капитану незнакомым, но более близким, чем то, которое он видел ежедневно, потому что было лицом человека. Впечатление было настолько ново и странно, что Николай Иванович на цыпочках вышел из кухни и с недоумевающим видом огляделся вокруг: ему показалось, что и комната не та.

Прошло полчаса. По комнатам пронесся зычный зов:

— Кукушкин!

Но в сиплом голосе звучали новые, незнакомые ноты.

Кукушкин зашевелился и после нового крика, осторожно стукая каблуками, вошел в комнату. Потупив голову, он стал у порога и замер. И на этого жалкого человека капитан мог сердиться!

— Кукушкин!

Пальцы денщика слегка зашевелились и снова оцепенели.

— Украл деньги?

— Украл... не... не...

Голос Кукушкина дрогнул, и пальцы зашевелились быстрее. Капитан молчал.

— Значит, теперь судить тебя будем?

— Ваше благородие... Не дайте погибнуть...

Капитан быстро вскочил и, подойдя к Кукушкину, взял его за плечи.

— Дурак ты, дурак. Да разве же я и вправду? Эх ты! — Капитан дернул Кукушкина и, повернувшись, подошел к окошку, точно в эту темную рождественскую ночь можно было хоть что-нибудь увидеть на улице. Но капитан увидел и, поднеся руку к лицу, смахнул что-то, что мешало видеть яснее.

— Ваше благородие...

В голосе денщика слышалось то самое, что так удачно смахнул капитан. Жирная спина капитана была неподвижна.

— Ну что? — глухо донеслось от окна.

— Ваше благородие... Накажите меня.

— Будет, будет глупости говорить.

Николай Иванович обернулся, и Кукушкин, с размаха бросившись на колени, хотел обнять его ноги. С выражением растерянности, страдания и умиления на оплывшем красном лице капитан приподнял его, неловко поцеловал в стоявшие дыбом волосы и, отрывая руку от его губ, шутливо и сконфуженно отпихнул от себя.

— Пошел, пошел!.. Что я, поп, что ли? Налей-ка водки в графинчик! Живо! Одна нога там, а другая здесь.

О ужас! Толстопузый графин, десять лет служивший капитану верой и правдой, подхваченный ловкой рукой денщика, взлетел в воздух, показал свое пустое дно, некоторое время повертелся около руки и, окончательно решившись, упал и разлетелся на куски.

— Ничего, брат. Тащи четверть!

...Длинна и темна рождественская ночь. Давно уже спит крепченый мир. Только в окнах капитанского домика еще светится огонек, бросая желтоватый отблеск на снег...

— Так ты говоришь, деньги домой отослал?

— Так точно, вашебродь. Я вам, вашебродь, заработал...

— Но, но! Что за глупости?

Капитан пыхнул папироской и, глубже усевшись в разодранное кресло, блаженно закрыл глаза. Кукушкин сидел на кончике стула и, полуоткрыв рот, ловил каждое движение капитана.

— Так, ты думаешь, они рады?

— Помилуйте, вашебродь, да это я, уж это...

— Да, да.

...Длинна и темна зимняя ночь, но и она уступает перед силою всепобеждающего света... Белеет восток...

В капитанском домике укладываются спать. Кукушкин стягивает с капитана сапоги и, увлекаемый усердием, тащит с кровати и капитана. Капитан упирается и побеждает усердие денщика. Нежно прижимая к себе сапоги, конфузливо смотрящие на свет продырявленной подошвой, Кукушкин на цыпочках выходит.

— Постой... Так ты говоришь, дочь?

— Так точно, вашбродь. Авдотья.

— Ну, иди, иди.

Удивительно, что горькие мысли, предзнаменовавшие начало запой, на этот раз солгали; ни на следующий, ни на другие дни запой не являлся.

СОДЕРЖАНИЕ

Баргамот и Гараська	5
Из жизни штабс-капитана Каблукова	15
Петька на даче	26
Большой шлем	36
Ангелочек	46
Молчание	59
Рассказ о Сергее Петровиче	72
Жили-были	101
Кусака	121
Стена	129
Бездна	137
Мысль	151
В тумане	194
Жизнь Василия Фивейского	232
Красный смех. <i>Отрывки из найденной рукописи</i>	304
Губернатор	361
Иуда Искарот	414
Рассказ о семи повешенных	476
Он. <i>Рассказ неизвестного</i>	547
Полет	587

Андреев Л.

А 65 Малое собрание сочинений / Леонид Андреев. — СПб. :
Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. — 608 с.

ISBN 978-5-389-14559-7

Леонида Андреева современники называли «сфинксом российской интеллигенции». И по сей день он остается одним из самых загадочных авторов Серебряного века. Его произведения, парадоксальные и провокационные, заставили говорить о нем всю читающую Россию. По словам Корнея Чуковского, «он любил все огромное» — масштабные темы, проблемы, образы. Интеллектуальной опорой творчества Андреева стали произведения А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Ф. Достоевского, а квинтэссенцией настроений — трагедия одинокого человека, который, потеряв веру в Бога, остался один на один перед пугающей бездной. Андреев завораживает читателей, раскрывая перед ними самые темные и мрачные закоулки человеческой души; придуманные им сюжеты навсегда врезаются в память. В настоящее издание вошли наиболее известные рассказы и повести Л. Андреева, в числе которых «Баргамот и Гараська», «Ангелочек», «Жили-были», «Мысль», «Жизнь Василия Фивейского», «Иуда Искариот», «Рассказ о семи повешенных» и др.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)1-44

Литературно-художественное издание

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Ответственный редактор Оксана Сабурова
Художественный редактор Виктория Манацкова
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Наталья Бобкова, Елена Шнитникова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 23.03.2020. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 38. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-AMS-22819-01-R